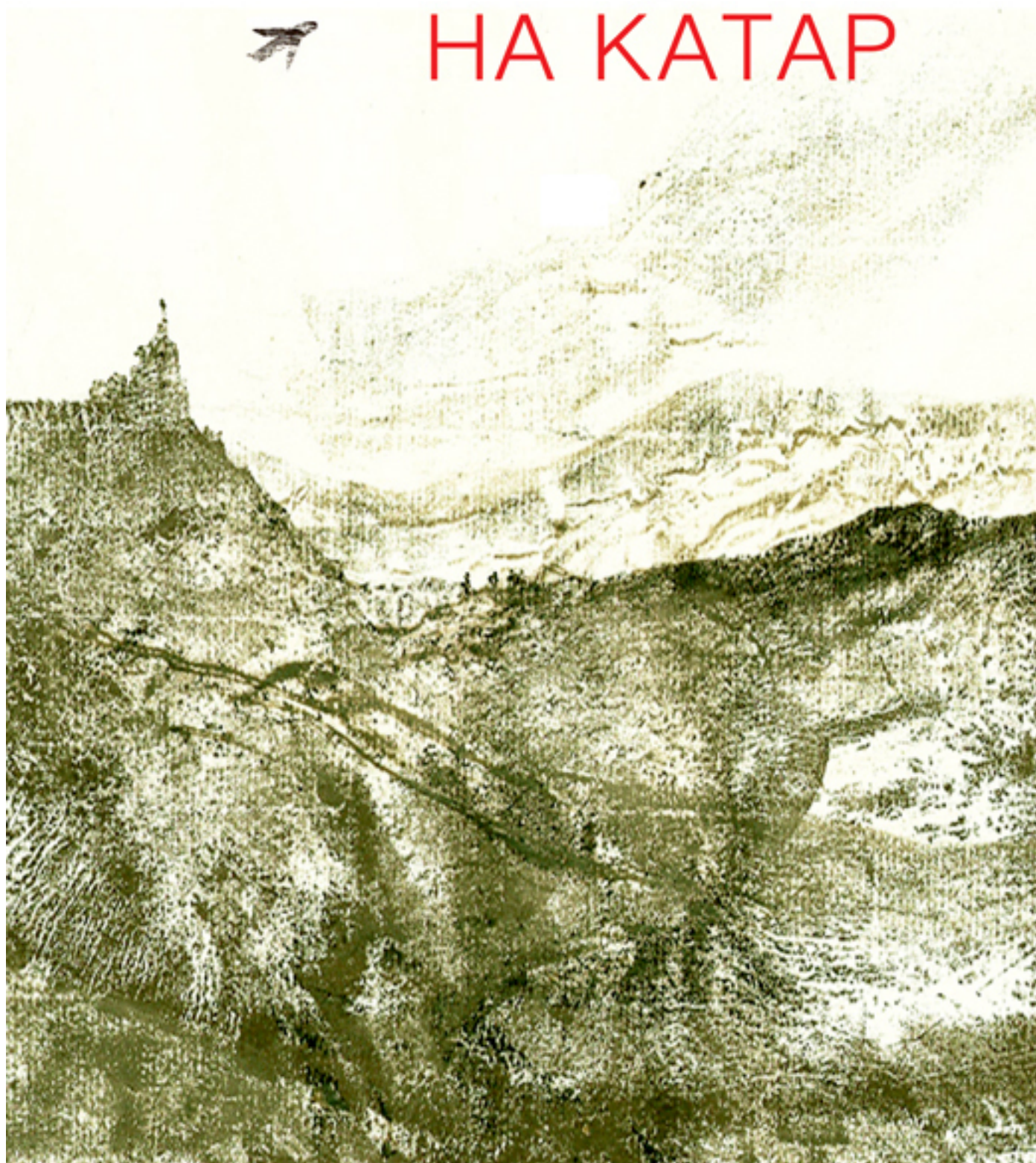


Николай  
Мамаев

# РЕЙС НА КАТАР



Николай Мамаев  
**Рейс на Катар (сборник)**

«Геликон Плюс»

2013

## **Мамаев Н.**

Рейс на Катар (сборник) / Н. Мамаев — «Геликон Плюс», 2013

Какой бы жестокой и в то же время хрупкой ни казалась порой окружающая нас действительность, какие бы тревожные оттенки она ни приобретала, стоит присмотреться внимательнее – и в хаосе абсурда можно заметить мерцающую путеводную звезду, на которую следует ориентироваться каждому путнику. Этой путеводной звездой является любовь. Писатель-неудачник, не вызывающий никаких чувств, кроме жалости, и молодое дарование; праздный сын владельца преуспевающей компании и нищий учитель с манерами аристократа; наконец, подросток-самоубийца и его одинокая в своем горе мать... Три совершенно не похожие, казалось бы, друг на друга истории... Что же объединяет их? Конечно, чувство всепоглощающей любви.

# Содержание

Рейс на Катар	6
Голова	11
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Николай Мамаев

## Рейс на Катар (сборник)

© Мамаев Н., текст, 2013

© Геликон Плюс, макет, 2013

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Рейс на Катар

Когда Прянику нужны были деньги, он просто звонил отцу, садился в свой сияющий «Фатон» и уже через каких-то жалких пятнадцать-двадцать минут парковал автомобиль у входа в семидесятиэтажный деловой центр Кламата. Офис «Тропико», компании, которой владел отец, успешный предприниматель, сколотивший состояние на поставке цитрусовых с Эгейских островов, находился на тридцать втором этаже здания. Бесшумный скоростной лифт без остановок преодолевал эту высоту за 34 секунды. Пряник несколько раз засекал время ради любопытства, и каждый раз платиновый циферблат «Сайко» показывал один и тот же результат. Какая бы погода ни стояла за огромными панорамными окнами кабинета отца, внутри всегда было настолько прохладно, что казалось, вот-вот застучат зубы. Пряников-старший выставлял на кондиционере едва ли не самую низкую температуру, объясняя недоумевающим посетителям, что это необходимо для здоровой работы его организма. «Ну не могу я иначе! Душит, душит меня этот город!» – хватался он за горло и закатывал глаза, желая наглядно продемонстрировать своим гостям, как это происходит.

Когда сын появлялся в его кабинете, Пряникову-старшему часто приходилось хвататься за сердце. Он безмолвно поднимался из-за стола, подходил к сейфу, отпирал его крохотным ключиком, после чего извлекал на свет божий солидную пачку хрустящих нежно-розовых купюр. С минуту он мял ее в пальцах и вопросительно смотрел на сына из-под мохнатых черных бровей, ждал объяснений. Следовали объяснения или нет, пачка нежно-розовых хрустящих купюр неизменно к концу встречи переходила в руки безупречно одетого молодого человека двухметрового роста, обладателя ослепительной киноактерской улыбки.

Вот и во вторник, четвертого июля, в одиннадцать часов тридцать четыре минуты утра солидная пачка денег переключалась в карман брюк молодого человека. Теперь не было никаких препятствий на пути к его цели: посетить Катар. Оставалось выкупить билеты на самолет и забронировать люкс в одной из пятизвездочных гостиниц Катара.

Отцу Пряник солгал: сказал, что проигрался и должен приличную сумму денег. Он обожал рулетку, обожал хороший виски, обожал часами валяться на городском пляже, потягивая коктейль, наблюдать за рельефными телами светловолосых спасателей, которые большую часть своего рабочего времени бесцельно бродили по пляжу. Прянику было двадцать семь. Городской экономический университет Кламата он окончил в двадцать два. Закончил с отличием – красной корочкой. Не обошлось, конечно, без денег и связей отца. За всю жизнь Пряник проработал ровно неделю – и то на побегушках у папаша. На большее не хватило энтузиазма. Да и инициатива эта была не его, а Пряникова-старшего, который хотел занять сына хоть чем-нибудь.

– Альберт, сынок, неужели тебе не надоело без дела слоняться вот так, из стороны в сторону? Ну пойми ты, Альберт, ничем хорошим прожигатели жизни не заканчивают. Наркотики, алкоголь... ты... ты ведь далеко не глупый парень... у тебя красный диплом. Ну хотя бы попробуй. Я не то чтобы настаиваю, жизнь твоя, заставлять я не могу, – эти слова Пряников-старший произнес, кажется, через два или три года после окончания сыном университета. А еще через полгода Пряник познакомился с Пьером.

Пьер был старше Пряника на девять с половиной лет и больше походил на героя классического любовного романа, нежели на учителя французского языка, – высокий (немногом ниже Пряника) и худощавый, широкоскулый брюнет с печальными карими глазами и аристократическими манерами. Они познакомились в одном из ночных клубов Катара в то время, когда его жителей еще не начали преследовать за цвет кожи или за сексуальные предпочтения. Июльский зной плавил асфальт катарских проспектов.

Пьер просто подсел за столик и предложил познакомиться. Пряник не в силах был отказать привлекательному молодому человеку. Они разговорились. Болтали обо всем на свете, хохотали, пили. Пьер непрерывно курил. Сигареты одна за другой истлевали в его слегка подрагивающих изящных пальцах. Он рассказал, что живет в Катаре уже много лет, четыре года работает учителем французского в старших классах государственной школы и мечтает преподавать в университете. Пряник рассказал ему кое-что о себе, сказал, что приехал в Катар посмотреть океан, поваляться на изумительных пляжах, ну и конечно же, завести новые знакомства. Пьер улыбнулся и сказал, что завидует такому количеству свободного времени. Они проболтали еще пару часов, после чего, изрядно охмелевшие, отправились вместе встречать рассвет в просторный люкс роскошного «Гранд Катара», в котором остановился Пряник.

Они провели вместе три восхитительные недели, по истечении которых Пряник покинул Катар, чтобы вернуться обратно. Их расставание в аэропорту сопровождалось обоюдными нежными признаниями, клятвами и слезами. Влюбленные пообещали, что будут писать друг другу, звонить – любым способом поддерживать связь. У Пьера был запланирован отпуск на ноябрь, совсем короткий – жалкие две недели, он надеялся, что удастся перенести отпуск на конец августа, в худшем случае – на сентябрь. Ну и что, что билеты обойдутся в целое состояние, если быть точным – в два месячных оклада, а лететь придется два с половиной дня? Пьера это не пугало, к тому же у скромного учителя имелись кое-какие сбережения... в конце концов, можно и занять. Они обнялись на прощанье, и белоснежный трансатлантический авиалайнер с одним из опечаленных любовников на борту, разогнавшись, взмыл под голубые небеса.

В первые дни своего возвращения Пряник, будто заключенный в огромный мыльный пузырь, бродил по пыльным улицам Кламата. Казалось, он потерял интерес ко всему, даже рулетка перестала его волновать. Первое письмо от Пьера он получил спустя четыре или пять дней после возвращения. Письмо не содержало в себе ничего особенного – в нем Пьер рассказывал о том, как невыносимо медленно тянутся для него катарские будни, как осточертело преподавание в школе, общество жестоких подростков. Он жаловался на скудный оклад и условия труда. Лишь в самом конце письма Пьер аккуратно вывел несколько обнадеживающих строчек на французском, которые заставили Пряника улыбнуться и в очередной раз достать из портмоне измятую фотокарточку, сделанную случайным фотографом в «Гранд Катаре». На фото они были запечатлены сидящими за столиком ресторана гостиницы: Пряник, как обычно, демонстрировал в объектив фотоаппарата свою ослепительную улыбку, немного смущенный Пьер застенчиво улыбался, косясь на своего спутника.

Пряник не замедлил с ответом: спустя сутки он вложил в конверт тираду, на сочинение которой ушла вся ночь, и отправил ее заказным письмом в Катар. Трудно было найти себе развлечение в скучные августовские деньки. Пряник посетил несколько художественных выставок своего давнего знакомого Фарлея Томпсона, с которым они когда-то сидели за одной партой в школе, и наконец-то сводил свою двоюродную сестренку Люси, которой недавно стукнуло семнадцать, в мюзик-холл на выступление знаменитого Бокова. С Люси они не виделись много лет, но она совсем не изменилась с того времени, когда он видел ее в последний раз: такая же озорная, такая же жизнерадостная, как и прежде. Жизнь была из нее неутомимым потоком. Сидя после представления за столиком пляжного «Англетера» и потягивая первую в жизни «маргариту», она поведала Прянику, что состоит в любовной связи с одним успешным южным кинопродюсером и в скором времени рассчитывает получить роль в его новой работе. «Кинофильм будет называться «Ночь нежна», он по книге, автор, кажется, Фицджеральд...» – с трепетом выдохнула сестренка. Пряник поинтересовался, известна ли ей уже предстоящая роль, но Люси отрицательно покачала головой – для нее это не важно, она с радостью возьмется за любую.

Во второй половине августа Пряник получил еще одно письмо от Пьера, совсем небольшое и сдержанное. Чувствовалось, что возникли проблемы, о которых Пьеру не хотелось рас-

пространяться. Расстроенный Пряник в тот же вечер нацарапал такой же лаконичный и сдержанный ответ и отправил обычным письмом на следующее утро. Неделью он пил, не просыхая. К нему вернулось состояние «мыльного пузыря», раздражительность и апатия. Пряник резко отказался от алкоголя, но тревожное состояние не спешило проходить. «Значит, проблема гораздо глубже, чем я предполагал», – решил Пряник. Недолго думая, он записался на прием к доктору Уотерпруфу, психотерапевту, который специализировался на тревожных расстройствах и прочих неврозах.

Под врачебный кабинет Уотерпруф приспособил одну из комнат старого особняка Зелинских, небольшого и немного обветшалого деревянного строения розового цвета, тонувшего в зелени Липового бульвара. Окрестности особняка, богатые разнообразной флорой, были овеяны дымкой некой безмятежности, потусторонним спокойствием, окутывающим забредшего сюда путника. Сам Уотерпруф, хихикая в окладистую белоснежную бороду, объяснял этот «феномен» банальной игрой света и тени, а также воспаленным, слишком чувствительным воображением пациентов психотерапевтического кабинета. Уотерпруф был старым другом семейства Пряниковых. Время от времени он консультировал Пряникова-старшего в вопросах ведения бизнеса, помогал ему с подбором персонала, когда требовалось – оказывал психологическую поддержку. Пряник познакомился со стариком, когда тот был приглашен к обеду по случаю празднования пятидесятилетия отца. Уотерпруф показался ему весьма занятным чудачком, который вместо зубочистки использует канцелярскую скрепку, потешно хихикает в бороду и к каждой своей фразе прибавляет дурацкое «так сказать»: «Один мой хороший, так сказать, знакомый, так сказать, утверждает, что собаки, так сказать, в силу неких своих физиологических особенностей не могут, так сказать, глядеть вверх... знаете ли, – тут он выдерживал паузу и начинал хихикать: – Абсурд, господа, какой абсурд...»

За два с лишним года, что минули с тех пор, Уотерпруф почти не изменился. Он сидел за небольшим деревянным столиком белого цвета, не изменяя старым традициям, ковырял скрепкой в ухе и лениво зевал. Справа на тумбочке аккуратно в ряд были расставлены канцелярские папки, плотно набитые историями болезней и бухгалтерскими отчетами. Уотерпруф, не перебивая, слушал Пряника, время от времени рисовал непонятные закорючки в блокноте перед собой и по истечении получаса – именно столько длилась исповедь пациента – выписал ему прозак и посоветовал больше времени проводить на открытом воздухе:

– Я бы на вашем месте, так сказать, больше времени проводил в парке, пляж тоже подходит... ну и конечно же, бег трусцой – для поддержания физической формы, так сказать. В здоровом теле – здоровый дух! Передавайте привет батюшке...

Спустя неделю тревога начала отступать, но состояние общей подавленности не отпускало. 27 августа пришло новое письмо от Пьера, в котором тот сообщал, что перенести отпуск не удалось, он прилетит в Клачат третьего ноября, билеты у него на руках. Несказанно обрадованный этим известием, Пряник откупорил бутылку Beaujolais nouveau, расправившись с которой принялся за Ballantine's Gold Seal. Празднование растянулось на неделю. Незаметно для Пряника наступила календарная осень. Голова раскалывалась, вернулись чувство тревоги и апатия. Пряник вспомнил про прозак и седобородого доктора «Так сказать». Захотелось сменить обстановку. Пряник запрыгнул в «Фатон», включил на полную катушку Эрика Стрипа и под аккомпанемент его душераздирающих завываний покинул центр Кламата, для того чтобы на некоторое время уединиться в пригороде. За пентхаусом он попросил «присмотреть» Люси. Та охотно согласилась выполнить его просьбу.

Великолепный «Блу Берд» приземлился в аэропорту Кламата ровно в полдень. Они с Пьером встретились в зале ожидания. Пряник едва не прыгал от переполняющих его эмоций, Пьер, казалось, был чем-то встревожен. Оба изысканно одетые и молчаливые, они направились к выходу из здания аэропорта. Позади, таща за собой увесистый черный чемодан, семенил служка. Пьер намеревался занять номер в скромном «Паласе», но Пряник настоял на том,

чтобы он остановился в его пентхаусе. Кроме того, Прянику очень хотелось, чтобы Пьер познакомился с Крошкой Люси.

Но Крошки Люси не оказалось на месте (Пьер познакомился с ней на следующее утро). Очевидно, убежала на очередное свидание с кинорежиссером. По огромной кровати было раскидано ее нижнее белье, на полу валялся измятый красный сарафан. Похоже, Люси собиралась впопыхах. Пьер разложил чемодан и отправился в душ. Ближе к вечеру, придя в себя от длительного перелета, он рассказал о причинах своего беспокойства.

Волнения в Катаре начались через несколько дней после того, как либеральный и слишком мягкий Роден покинул пост главы государства, уступив место молодому и амбициозному Шейду, известному своей жестокостью, религиозным фанатизмом и, как следствие, крайне радикальными политическими взглядами. Первым указом Шейда на новом посту был запрет на межэтнические браки. В скором времени последовали и другие запреты: гомосексуализм был объявлен вне закона и карался смертной казнью, любая критика в адрес работы членов нового правительства могла расцениваться как подстрекательство к мятежу и влекла за собой уголовную ответственность, за применение физической силы по отношению к сотруднику министерства внутренних дел полагался расстрел. Кроме того, обязательным стало соблюдение религиозных постов. После введения ограничения на продажу алкоголя большинство мелких кафешек и ресторанчиков обанкротились. Ходили слухи, что границы могут быть вот-вот закрыты. Многие в спешке начали собирать вещи и покидать Катар. Несмотря на аресты, светская часть общества продолжала открыто выражать свое недовольство, митингуя перед зданием правительства.

Пряник слушал и чувствовал, как шевелятся волосы на голове от этого жуткого рассказа. Кто бы мог предположить здесь, в благополучном демократическом Кламате, что где-то к власти все еще приходят тираны вроде Шейда. Разве такое возможно в наши дни? Он и Пьер сидели в джакузи, окруженные приятным клокотанием, неспешно потягивали «Кристалл». Пряник предложил Пьеру остаться: они могут жить здесь вдвоем. Слегка опьяневший Пьер тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой:

– К сожалению, не все так просто, мой друг. Мне придется вернуться в любом случае. Я не могу бросить мать.

– Но ты можешь вернуться за ней и привезти сюда! Здесь поселится вся твоя родня, если это потребуется! Места хватит на всех! – воскликнул Пряник.

– Кроме матери, у меня никого нет. Благодарю за столь великодушное предложение, мой друг, – Пьер скромно улыбнулся.

– Ты должен попробовать! Ради своей же безопасности! Ради нас! – не унимался Пряник.

– Клянусь, сделаю все, что в моих силах, – прошептал Пьер и придвинулся ближе к любовнику, – ну а сейчас я помогу тебе расслабиться.

*12 ноября 7:40 вечера*

Двое молодых людей покидают роскошные апартаменты. Один из них небрежно волочит за собой большой черный чемодан, другой – тот, что повыше ростом, – идет рядом, засунув руки в карманы плаща. На лицах обоих волнение. Они заходят в лифт и опускаются на первый этаж. Преклонного возраста консьерж учтиво кланяется господам. Господа тем временем выходят на улицу, продуваемую тревожным осенним ветром. Молодой человек с чемоданом на мгновение останавливается, для того чтобы поднять ворот короткого черного пальто. Его ухоженные тонкие брови сходятся на переносице. Он что-то говорит своему спутнику, о чем-то спрашивает его. В ответ тот вскидывает руку в направлении газетного киоска, рядом с которым стоит роскошный автомобиль. Молодой человек, тот, который остановился, чтобы поднять ворот пальто, вновь хватается за ручку чемодана. Оба изящной неторопливой походкой плывут по направлению к роскошному автомобилю.

Час спустя в стеклянной коробке аэропорта, заполненной разноцветными сувенирными лавчонками, закусочными и банкоматами, среди натыкающихся друг на друга взволнованных пассажиров и встречающих, молодые люди сливаются в объятии, что-то шепчут... Через мгновение они будут вынуждены расстаться.

За полтора года переписки, последовавшей за расставанием в аэропорту, они обменялись в общей сложности полусотней писем. Последнюю весточку из Катара Пряник получил второго мая – короткое послание на измятом листке, нацарапанное дрожащей рукой:

*«Дорогой друг,*

*Несмотря на творящийся ужас (я говорю о введенном не так давно военном положении), со мной пока что все в полном порядке. Школы открыты, я продолжаю работать. Знаешь, если бы не возможность преподавать, в нынешних условиях я рисковал бы свихнуться. Ублюдок выпустил на улицы своих головорезов. Они везде. Дежурят даже в школе. Шоколадно улыбаются с автоматами наперевес.*

*Совершенно никакого настроения. От человека, который взялся оформить документы на выезд, до сих пор нет новостей. Продолжаю ждать, надеясь на лучшее.*

*Прости, что не всегда удается отвечать тебе. Постараюсь в скором времени написать еще.*

*Р. S. Какая погодка сейчас в Кламате? Наше небо всю неделю мрачное, дождь льет не переставая. Как дела у Люси? Съёмки уже начались?*

*Р. P. S. Надеюсь, ты не хандрить! Ведь не хандрить же?!*

*Искренне твой,*

*Пьер В.».*

Сработал датчик движения, и громоздкие стеклянные двери бесшумно расползлись в стороны. Пряник сделал шаг и очутился на улице. Приятный летний ветерок тут же подхватил его волосы и заиграл ими. Оставленный позади трехсотсемидесятишестиметровый бетонный фаллос невозмутимо упирался в небо. Пряник начал спускаться по ступеням, но внезапно ощутил сильное головокружение. К горлу подступил ком. Пряник подумал, что сейчас вот-вот потеряет сознание, скатится вниз и разобьет голову об асфальт – на этом для него все и закончится. Но, к счастью, этого не произошло. Он сделал три глубоких вдоха и опустился на одну из ступеней. Стало легче. В поисках лекарства Пряник машинально сунул руку в карман брюк. Сегодня ему предстояло принять важное решение. А все важные решения должны приниматься исключительно на свежую голову. По крайней мере, так утверждал его старик. Желто-зеленые капсулы запрыгали по ступеням вниз.

## Голова

Я решил немного сократить свой путь и сошел с пыльной грунтовой дороги. Теперь мой маршрут пролегал через поле. Мне снова было восемь. Несмотря на то что стояло раннее утро, солнце уже заметно припекало макушку. В воздухе пахло свежими коровьими лепешками, ноги вязли во влажной траве. Легкие парусиновые брюки, что были на мне, моментально промокли и отяжелели. Но я совсем не переживал по этому поводу. В данный момент мне было совершенно наплевать, сохранят ли брюки в ближайшее время свою девственную утреннюю белизну или же до того измараются, что их невозможно будет отстирать. Даже если бы сейчас я вляпался в одну из этих бесчисленных коровьих лепешек, которыми было усеяно поле, или же поскользнулся и упал в лужу, я бы просто поднялся на ноги и продолжил свой путь. Да, я даже не стал бы пытаться оттереть налипшую грязь. Пускай бы впитывалась себе на здоровье. Грязь, подумаешь – грязь. Ну и что с того? Тем более я вообще больше никогда не собирался носить брюки, трусы, носки или гольфы. Ну и, конечно же, обувь. Ее я никогда не любил, потому что от любой пары туфель, неважно, моей ли собственной или чьей-то чужой, непременно воняло. Боже! Еще как воняло! Может быть, все дело было в моих огромных ноздрях или в физиологической особенности строения моего носа? Он, кстати, тоже был немаленьким. Этого я точно не знал, но то, что вся обувь во вселенной непременно воняла, не вызывало никаких сомнений. Впрочем, я был рад, что в скором времени избавлюсь от этого бремени.

Продвигаясь вперед, я вспомнил о маме, и мне захотелось плакать. Только теперь я понял, насколько она одинока была все это время, а я, я – это та тоненькая соломинка, за которую она держалась последние годы. Она всегда была очень доверчивой, а я всегда оставался неисправимым лжецом. Я соврал ей и в этот раз: сказал, что встану с первыми петухами, потому что хочу сходить по грибы. Для пушей убедительности даже взял с собой старую плетеную корзинку. Бабушкину корзинку. Вот, мне снова восемь. А она лишь кротко улыбнулась, кивнула и отправилась спать на второй этаж. Неужели ее материнское сердце не екнуло в тот момент? В момент моего вранья. Но что мне еще оставалось делать? Не мог же я, в конце-то концов, выложить ей все как есть! И вот я подумал, что лучше соврать, чем не сказать ничего вообще. Подумал, что так будет лучше для нее, потому что был твердо уверен, что мне не придется терзаться по этому поводу. Она запомнит это вранье, и, может быть даже, однажды ее согреют эти слова, пускай фальшивые, но сказанные из лучших побуждений. Ведь так? Ведь так? Слышишь ты меня? Слышишь? Скажи, что слышишь меня и что уши твои не забиты овсяной кашей!

Мы приехали в деревню неделей ранее, и мама планировала пробыть здесь до конца лета. Она, конечно, была городским жителем, но, как любого городского жителя, деревня прельщала ее свежим воздухом, а кроме того, мама безумно любила ухаживать за своим цветником, который был разбит ею прямо напротив крыльца нашего дома. Старенького двухэтажного дома. Не дома, нет... Домика! Всего лишь три крохотные комнатухи: гостиная, спальня и веранда. На веранде всегда было солнечно и очень душно. Там мы любили завтракать втроем. Когда-то. Давно. Мне тяжело вспоминать ту, нашу последнюю совместную трапезу там. Кажется, что это было так давно, так давно... Ведь отца нет с нами вот уже целых десять лет! Подумать только! Я часто размышлял, что было бы, если той теплой осенью он не сорвался бы со скалы и не полетел в ущелье. Думаю, эти утренние завтраки на веранде продолжались бы и по сей день. И мама была бы совершенно другой. Она была бы счастливой. Счастливым был бы и я.

Когда два месяца тому назад у мамы диагностировали рак, она не сказала мне об этом ни слова. Ей не хотелось расстраивать меня! Расстраивать! Боже мой! Представьте себе: человеку сообщают смертельный диагноз, а он в первую очередь думает о том, как бы не расстроить своих близких. Господи, я клянусь, это АПОФЕОЗ ГУМАНИЗМА!

Помню, что когда она все же решилась и сказала мне правду, я закрыл лицо руками и зарыдал. Я рыдал стоя. Потом склонился перед кроватью, ее кроватью, и уронил голову на подушку и зарыдал в нее. От подушки пахло ее волосами. Великолепный запах, просто божественный. Я бы хотел, чтобы так пахли волосы моей жены, которой у меня никогда не будет. Она просто стояла надо мной и гладила меня по голове. Она шептала мне. Шептала, что любит. Шептала, что, что бы ни случилось, она всегда будет со мной. Будет приглядывать за мной с пушистого облака и помогать, когда увидит, что я буду нуждаться в этом. Когда же я спросил ее, как может она оставаться такой спокойной, зная о своем смертельном диагнозе, она ответила мне, что не боится смерти. Она сказала, что прожила долгую счастливую жизнь. СЧАСТЛИВУЮ! Я спросил, действительно ли она так считает, ведь ей еще только пятьдесят пять! И она ответила мне «да», но единственное о чем она сожалеет, так это о том, что ей придется оставить меня (несмотря на ее же собственные слова про пушистое облако и все такое) и что она так и не увидит своих внуков, не подержит их на руках, не понянчит. Я так разозлился, что бросил дерзновенно «Ну и черт с ними! С этими внуками! Я бы без сожаления оскопил себя!» В ответ на эти слова она закинула голову назад и рассмеялась, после чего проникновенно посмотрела на меня и сказала: «Ты еще так молод, так глуп!» Мое сердце продолжало бешено колотиться, руки тряслись так сильно, что из стакана с водой, который она принесла, чтобы я запил какое-то успокоительное, выплескивалась вода. Но я справился и сделал несколько глотков. Когда же мой мотор начал понемногу успокаиваться, сбрасывать обороты, я собрал в кулак всю свою храбрость и почти шепотом задал ей вопрос: «Что говорит доктор Зальцман? Есть ли хоть осколочек надежды?» – «Нет, никакой. Опухоль не операбельна», – констатировала мама. Она разглядывала меня своими печальными голубыми глазами. С тех пор мы больше не касались темы ее здоровья. У меня же начала развиваться бессонница. Сначала я часами ворочался на измятой простыне, а когда уже начинало светать, оставлял всякие попытки заснуть, подкладывал руки под голову и, таращась на потолок, представлял себе день ее смерти. Я пытался предугадать, когда это случится: утром, днем, вечером, а может быть, ночью, и уже далее, отплясывая от этого, составлял алгоритм своих действий. Первое время мысль о том, что вскоре я уже не услышу ее храпа из-за стенки, казалась мне просто сумасшедшей. Ну разве такое могло случиться с нами? После всего того, что мы пережили? Однажды мне довелось проходить мимо крематория, и я случайно подсмотрел, как две молоденькие девушки ставили в багажник автомобиля урну с прахом родственника. Но как ставили! Видели бы вы! Сначала они опустили ее в пакет, точно такой же, какой уже стоял в багажнике, но забитый доверху ПРОДУКТАМИ! Вдумайтесь! Продуктами! Они поставили прах своего родственника в один ряд с помидорами, сырами, колбасами, копченостями и лимонадами. И я подумал тогда, что, возможно, по приезде домой они спустят этот прах в унитаз. А почему бы и нет? Разве нельзя ожидать такого дикого поступка от подобных безнравственных людей? Но больше всего меня заставила содрогнуться следующая мысль: ведь вполне допустимо, что совсем недавно за рулем того самого автомобиля сидел человек, который теперь превратился в пепел и занимает место в багажнике, в коробочке, а не водительское кресло, на котором в настоящий момент валяжно, не краснея, пыхтит сигаретой раскрашенная болонка. Пусть даже это его дочь, любовница или сестра.

Я почувствовал, как моя правая нога свободно загуляла в старом отцовском башмаке, и припал на одно колено, чтобы затянуть шнурки. Я нашел обувь отца вчера вечером на антресоли. Там же обнаружил и две его измятые рубашки, от которых несло затхлостью. Не знаю, почему с утра я натянул его ботинки, но сейчас ничуть не сожалел об этом. Ботинки были действительно очень удобными и пришлись мне в самую пору.

Когда утром я вышел на крыльцо, меня сразу же заметил Палыч, который ни свет ни заря уже ковырялся в грядках. Он привстал с низенького табурета, улыбнулся и в знак приветствия махнул мне рукой. Я ответил ему тем же. Палыч наверняка не ожидал от городского

«барчонка» столь раннего подъема. Он был уже глубоким стариком, ноги еле держали его, но все равно продолжал заниматься своим огородом. Как-то он сказал моей матери, что видит в этом человеческое предназначение – возделывать землю, которой наградила человека Господь, и потому он твердо намерен заниматься этим до конца своих дней. Палыч был в дружеских отношениях с моим отцом, и за это я уважал старика, несмотря на то что не разделял его взглядов. Мне они казались абсурдными. Разве может быть так, что человечество создано кем-то только для того, чтобы пропалывать клубничные грядки, обрезать усики, копать лунки и совать в них семена?

Я пересек поле и подошел к окраине леса, сквозь который пролежала старая железная дорога. До моего слуха донесся душераздирающий гудок электрички. Она подъезжала к Шапкам. Следующей остановкой значились наши Голубые Ели, после которых электричка должна будет прибыть в конечный пункт следования – Темное Озеро, а затем двинуться в обратном направлении – в сторону города. Тогда-то я и собирался осуществить задуманное. Я знал, что обратно электричка пойдет совершенно пустой, первые пассажиры зайдут в вагоны не раньше того, как она доползет до Ручьев. А мне вовсе не хотелось омрачать это прекрасное солнечное утро случайным пассажиром. Значит, времени у меня около получаса. Этого вполне должно хватить для того, чтобы добраться до рельсов и собраться с духом. Тем не менее я ускорил шаг.

Ветки осин царапали руки и то и дело хлестали по лицу. Но я почти не замечал этого, потому что все мои мысли были о маме. Я ломился вперед через заросли к железной дороге и думал, что же будет с ней. Неожиданно зацепился ногой за какой-то корень, пролетел несколько метров и растянулся на земле. Прямо перед моими глазами один муравей тащил на спине своего собрата. Вскоре они оба скрылись под листом подорожника, из-под которого больше не вылезали. Я поднялся на ноги и продолжил свой путь. Осиновые заросли остались позади и теперь меня окружали молодые березки. Они были еще настолько слабыми, что легкий летний ветерок раскачивал их из стороны в сторону. Как же они покорно гнулись под его натиском! Перед моими глазами опять возник образ матери. Ее глаза, ее кроткая улыбка. Интересно, чем она сейчас занимается? Может быть, все еще спит? Хотя вряд ли, ведь последнее время ей приходилось вставать очень рано, чтобы выпить лекарство, после которого она уже не могла заснуть, даже если и возвращалась в кровать. Скорее всего, она прибирается в доме или готовит завтрак. Что-нибудь вкусенькое. Наверняка! Она очень хорошо готовила. Кулинарию можно было назвать ее коньком. Мы с отцом всегда с удовольствием лопали ее стряпню, будь то овощной салат или же жирный стейк с ароматной подливой. Наверняка на ней старенький плюшевый халат, который уже давно начал расходиться по швам и с которым, несмотря на это, она все никак не хотела расставаться. Чем-то он был ей очень дорог. Я всегда был уверен, что теплыми воспоминаниями. Ну не торчащими же в разные стороны нитками? По дому она всегда передвигалась босиком. К глазам подступили слезы. Они так и норовили хлынуть потоком, но я держался. Держался, потому что знал: если дам слабину, то не смогу осуществить задуманное. Мне вдруг стало очень жарко. Я снял рубаху и повесил ее на первый попавшийся сучок. Теперь из одежды на мне были только измазанные грязью парусиновые брюки да отцовские башмаки. Они, кстати, опять расшнуровались. На этот раз – оба. Ну и пусть себе болтаются на здоровье. Подумаешь тоже! Велика беда! Снова послышался гудок электрички, но теперь, откуда-то издалека. Я остановился и прикрыл глаза. Простоял так, наверное, около минуты. Просто стоял, втягивал ноздрями чистый лесной воздух и слушал кукушку. Где-то надо мной пролетал самолет. Он монотонно гудел, и я помолился про себя, чтобы он благополучно долетел до того места, куда направлялся. Открыл глаза и вновь двинулся дальше. Впереди, между стволами деревьев, уже проглядывалась гравийная насыпь. Оставалось пройти совсем чуть-чуть.

Я встал на четвереньки и прикоснулся щекой к холодной рельсе, повернул голову и прикоснулся другой. Ощущения были схожими. Но я решил, что мое лицо будет обращено в сторону города, а глаза широко открыты. Я хотел до последнего мгновения любоваться восхи-

тительным пейзажем, который открывался из такого положения. Не хотелось наблюдать за приближающимся поездом, знал, что меня это только напугает и я могу струсить, отказаться от своей затеи. Закрывать глаза тоже не хотел. В любом случае от этого было бы мало толку. Вообще-то – совсем никакого. Думать я намеревался о чем-то хорошем, но, оказавшись на месте, понял, что заставить думать себя о чем-то еще кроме того, что должно было со мной произойти, просто невозможно. Можно было думать о маме, но эти две мысли взаимосвязаны, вытекают одна из другой. Мама сейчас, наверное, занимается цветами. Сидит на низенькой табуретке, такой же как у Палыча, перед нашим цветником, в руке держит совочек, справа стоит ведро для сорняков. Она вытирает рукою пот со лба и тяжело вздыхает. Чувствует она себя неважно: кружится голова и опять начинаются боли. Лекарство, которое она пьет, лишь притупляет боль на короткий промежуток времени, но никогда не избавляет от боли целиком.

Я покрутил головой, отгоняя дурные мысли. Нет, нужно постараться вообще ни о чем не думать. Выкинуть все из головы, тогда и сердце перестанет колотиться как сумасшедшее.

Я приложил ухо к холодному металлу. Электричка уже шла в моем направлении. Было слышно, как стучат ее колеса. Пора. Я глубоко вздохнул и опустил шею на прохладный металл рельсы. По телу пробежали мурашки. Мое лицо было обращено в ту же сторону, что и лицо машиниста. Гул все нарастал и нарастал. Электричка стремительно приближалась. Рот наполнился слюной, и я попытался проглотить ее, но кадык отказался двигаться. Я просто разомкнул сжатые в тонкую полоску губы и выдавил из себя слюну. Она стекла по щеке и скопилась возле уха. Сердце было готово вот-вот выпрыгнуть из груди, все мое тело содрогалось, я взмок, как свинья, – холодный пот заливал лицо, в подмышечных впадинах образовались болота, между ног все сопрело и скукожилось. И тут раздался оглушительный гудок электрички, к которому секундой позже присоединился стальной ляг тормозов. Я вздрогнул, не смог совладать с собой и изо всех сил зажмурился. В одно мгновение мой разум целиком очистился. Но тут все поглотила тьма...

Я с трудом приоткрыл тяжелые веки. Глаза все никак не могли привыкнуть к свету люминесцентных ламп, которые висели под потолком. Рядом кто-то чем-то звенел, но я не мог повернуть голову, чтобы посмотреть. Перед глазами все плыло, голова раскалывалась от боли, во рту совсем пересохло. Я попробовал пошевелиться, но из этого ничего не вышло. Ни один из моих членов не дрогнул, хотя все они жутко чесались. И тут я наконец осознал: я остался жив! Не знаю, что за чудо произошло, но я ОСТАЛСЯ ЖИВ! Как такое могло произойти? Разве это возможно? Нет, это просто уму непостижимо! Но может быть, все это сон? И все, что было до этого, тоже? Нет. Это не сон. Вот он – я. Лежу на мягкой подушке, накрыт, должно быть, одеялом. Вот только где? Ну конечно – в больнице! Где же еще? Это ведь ясно как божий день, достаточно только взглянуть на потолок и увидеть эти жуткие люминесцентные лампы. Туман в голове понемногу начинал рассеиваться, глаза окончательно привыкли к свету. Я подумал, что каким-то образом повредил позвоночник и меня парализовало. Господи! Парализовало! Что же теперь будет с мамой? Теперь она превратится в сиделку! Да ведь ей самой нужна сиделка! Что же я натворил?! Я решил позвать кого-нибудь, попросить, чтобы принесли попить. Как же мне хотелось пить! Больше всего я мечтал о спасительном глотке самой обыкновенной прохладной воды. Попытался крикнуть, но с губ слетел лишь едва слышимый шепот: «Воды! Воды! Пожалуйста, я хочу пить!» Меня никто не услышал. Никто не подошел. Тогда я собрал все свои силы и предпринял еще одну попытку. Но и она не увенчалась успехом. На этот раз не получилось даже шепота, только заклокотало в горле. Я понял, что еще совсем слаб и лучшее, что можно сейчас сделать, так это поспать.

Мне снились мать и отец. Мы завтракали втроем на веранде нашего деревенского домика. В наших тарелках пузырилась яичница с беконом. Отец что-то рассказывал, а мама то и дело запрокидывала назад голову и от души хохотала. Хохотал и я вместе с ней, правда, совсем не понимал над чем. Отец, как мне казалось, рассказывал об одном из своих путешествий. Его

глазунья оставалось почти нетронутой – он лишь ковырял ее вилкой. На нем была свободная рубашка цвета хаки с коротким рукавом, а на ногах, я специально обратил на это внимание, – те самые коричневые башмаки, которые пришлось мне в самую пору. Он все продолжал рассказывать, а мама тем временем встала из-за стола и куда-то ушла, не сказав при этом ни слова. Она только игриво посмотрела на отца. Меня немного взволновал ее уход, но через некоторое время мама вернулась к нам на веранду, держа в руках глиняный заварочный чайник. Он был таким смешным, таким пузатым. Но он же давно разбился! Мама разлила чай по кружкам, и моих ноздрей коснулся приятный аромат настоящего цейлонского чая. Прямиком оттуда его привез папа. Я пригляделся к маме. На ее лице не было ни тени печали. В глазах горел огонек задора, а с уст не сходила широкая улыбка. Такой я видел ее в последний раз много лет тому назад, когда с нами был папа. Она была счастлива. Счастлива и здорова. Мы допили наш чай и бросили посуду как есть на столе. Яичница в тарелке отца покрылась твердой пленочкой и выглядела теперь совсем не привлекательно. Мы вышли на крыльцо и постояли там втроем некоторое время. Отец обнял меня за плечи и сказал, что скоро ему вновь придется покинуть нас. Я спросил, куда он собирается в этот раз. Но отец ничего не ответил. Он лишь посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел грусть. Ко мне повернулась мама и ответила за него, что теперь отцу придется очень часто уезжать и в этих разъездах будет проходить большая часть его времени. Я спросил маму, как часто мы будем видеть его, на что она ответила, что лишь пару раз в год и не больше чем на день. Отец никак не реагировал на наш разговор. Он просто стоял и всматривался вдаль. А потом вдруг улыбнулся и взял маму за руку. Все вместе, втроем мы спустились с крыльца и встали напротив цветника. Мать с отцом любовались цветами. Отец кивнул головой на какой-то оранжевый цветок и что-то спросил у мамы. Она в ответ что-то шепнула ему, и они оба обернулись чтобы посмотреть на меня.

Когда я проснулся и открыл глаза, то увидел прямо над собой лицо, большая часть которого была скрыта больничной маской. Глаза незнакомца пытливо рассматривали меня. Мне показалось, что я увидел сквозь маску, как он улыбается. Незнакомец прищурился, помотал головой и куда-то исчез. Меня охватила паника: как? Опять? Опять меня оставили одного? Неужели они не догадываются о том, что я хочу пить? Или же просто издеваются надо мной, пользуются тем, что я не могу говорить? Я пролежал несколько часов, рассматривая потолок. Все тело ужасно чесалось, но я не мог пошевелить даже пальцем. Получалось только вращать глазами, так что поле зрения было сильно ограничено. Незнакомца в маске я больше не видел, но это не исключало факта, что он где-то поблизости, потому что время от времени до меня доносилось чье-то сопение. Хотя, может быть, рядом со мной работал какой-нибудь медицинский аппарат. При таком моем состоянии вообще нельзя быть в чем-то уверенным. Мне даже с трудом удавалось иной раз провести грань между бодрствованием и сном. Черта, которая разделяла собой эти состояния, до того истончилась, что приходилось прикладывать немало усилий, чтобы разглядеть ее среди густого тумана полубморочного состояния. Наверняка это следствие того, что мне вкололи какие-нибудь лекарства. И в этом нет ничего удивительного – ведь я в больнице. Да-да! Это единственное, в чем я был полностью уверен, потому что вся та немногая информация, с которой я успел столкнуться, подтверждала это. Я не заметил, как вновь задремал.

Надо мной кто-то шушукался, и мне это определенно не нравилось. Я с трудом разлепил веки, но перед глазами все плавало. Зрение никак не хотело фокусироваться на трех слабо различимых пятнах, что танцевали передо мной. Но слух, наоборот, обострился, и я различил три голоса: один – приятный женский и два зычных мужских баса.

Женский голос сообщил остальным, что в глаза мне закапан соленый раствор и потребуется некоторое время, чтобы понаблюдать за реакцией. Реакцией моих глаз? Или реакцией всего моего организма? Этого я не понял. Два зычных баса одобрительно загудели, защелками языками и опять зашушукались. Наконец-то кто-то из них заметил мои иссохшие губы

и попросил принести воды. Я хотел было радостно потрясти головой, но из этого ничего не вышло, лишь промычал что-то. Значит, шею тоже парализовало. Я ожидал, что к моему рту поднесут стакан с прохладной родниковой водой и помогут напиться, но вместо этого какой-то шутник принес пульверизатор и опрыскал мое лицо. Если бы я мог закричать, то обязательно сделал бы это сейчас. Встал бы и сказал им в лицо все, что о них думаю. Да как они смеют вести себя со мной подобным образом! Издеваться! Я не овощ, не какое-нибудь растение, чтобы меня поливали из пульверизатора! Но вместо этого я разжал зубы и приоткрыл рот в надежде, что немного жидкости попадет и туда. Мне бы хватило самой малости, только чтобы увлажнить пересохшее горло, нёбо, язык, который почти сросся со слизистой моего рта. Повезло, вода оросила ссохшийся язык. Во рту появился металлический привкус. Я почувствовал себя намного лучше. Танцующие перед глазами пятна приняли очертания человеческих лиц. Они были скрыты под масками и пластиковыми очками. Я попытался как можно лучше рассмотреть три пары глаз, которые изучали мое лицо. Мужской голос констатировал, что на меня было израсходовано слишком много воды и прыскать нужно только на лицо. Я недоумевал. Неужели им жаль для меня самой обыкновенной воды? Ведь она же текла из каждого крана! К тому же я находился в больничной палате, а не в бедуинском шатре. Приятный женский голос поинтересовался у своих более опытных старших коллег: «Возможно ли, что ему захочется пить?» Один из них отрывисто хохотнул и ответил, что захочется непременно, вот только необходимость в этом совсем отсутствует и вполне будет хватать опрыскиваний. Второй мужской голос глухо кашлянул и дополнил, что опрыскивания нужно проводить не чаще трех раз в день и увлекаться ими не стоит. Он указал на то, что подушка уже и так сырая, а в этом нет ничего полезного для моего здоровья. Я подумал, что, возможно, он беспокоится о пролежнях. Женский голос сказал, что подушку обязательно сменят, как только я засну. И женский голос сказал правду.

Не знаю, сколько времени прошло с того момента – час, два, а может быть, целые сутки. Мои биологические часы пришли в полную негодность, как и мой позвоночник. Каждый раз, когда я открывал глаза, передо мной неизменно возникал потолок и слепили люминесцентные лампы. Из-за них у меня даже не было возможности определить, светит ли за окном солнце или же на дворе стоит ночь. Несколько раз я слышал раскаты грома. Но от этого не стало легче. Передо мной появилось лицо в маске и поинтересовалось о самочувствии. Мне не хотелось отвечать, во-первых, потому что я был обижен, а во-вторых – сомневался, что с губ сорвется что-то, кроме нечленораздельных звуков. Но не удержался и решил попробовать. И тогда мои уста разродились. Я ответил, что меня мучает сильная головная боль. Лицо под маской улыбнулось и ответило, что, учитывая все обстоятельства, в этом нет ничего удивительного. Я не понял ответа и попросил пояснить, но человек в маске лишь покачал головой. Я спросил, что со мной произошло и верны ли мои догадки насчет того, что меня парализовало. Мой немногословный собеседник ответил, что это можно назвать и так, хотя он не уверен, грамотно ли будет звучать этот ответ с точки зрения медицины. Я дерзко бросил ему, что мне совершенно наплевать на это и я просто хочу узнать, что со мной. Лицо под маской повернулось ко мне левой щекой и кому-то кивнуло. Затем на меня вновь уставились глаза из-за защитных пластиковых очков. Голос сообщил мне, что совсем скоро меня сможет навестить мама.

Я проснулся оттого, что чьи-то руки гладили мое лицо, запускали пальцы в мои непослушные густые волосы. Не хотелось открывать глаза, потому что подумал, что если открою их, то этот волшебный сон испарится. Испарится точно так же, как и все остальные, которые видел в последнее время. Иначе как волшебными их нельзя было назвать. Никогда в жизни не снились мне такие яркие, красочные сны, как теперь. Нежные руки продолжали поглаживать меня, ласкать, а я просто лежал с закрытыми глазами и наслаждался. Я мог пролежать так целую вечность. Не хотелось в этот момент видеть перед собой беленый потолок, моргающие люминесцентные лампы или же странные лица, которые прятались за масками и пластиковыми

очками. Одна лишь мысль о них заставила меня содрогнуться. Я не хотел ни о чем вспоминать: ни о прошлом, ни тем более о настоящем. Я знал, что наслаждение рано или поздно кончится, ведь все хорошее когда-то заканчивается. Эти слова часто повторял отец. И ведь как в воду глядел. А потом знакомый голос чуть слышно прошептал на ухо мое имя. Он позвал меня. Я открыл глаза и опять увидел эти проклятые лампы. Сморгнул, но ничего не изменилось. Мне хотелось кричать! Значит, это действительно был сон. Меня не ласкали ничьи руки, никто не звал по имени. Не знаю почему, но я снова закрыл глаза и сосчитал до десяти, а когда открыл их, то увидел ее. Так, значит, это она ласкала меня, это она шептала. Мне хотелось закричать от радости, но вместо этого с трудом удалось промолвить: «Мама». Она приложила палец к губам в знак того, чтобы я приберег силы для чего-то более важного. Но что же могло быть важнее? Мое выздоровление? Неужели кто-то в это верил? Неужели это возможно? На мамином лице появилась кроткая улыбка, та самая, в которую я был влюблен с ранних лет. Но в глазах не было ничего, кроме тоски. Черной тоски и боли. Я подумал, что, наверное, таблетки теперь совсем перестали ей помогать, а этот шарлатан, Зальцман, наверняка отказался выписать другие. Мама наклонилась ко мне и поцеловала в губы. Я не сдержался и зарыдал. Она замотала головой и попросила меня успокоиться, потому что если этого не произойдет, то она разрыдается вместе со мной. Она еле держалась. Я постарался взять себя в руки, сохранить самообладание, и, кажется, получилось. По крайней мере, кровь отхлынула от лица. Щеки перестали пылать, но я чувствовал, как по ним стекают слезы. Я спросил маму, как она себя чувствует. Она ответила, что с ней все хорошо и чтобы я не волновался. Но я прекрасно видел, что ничего хорошего нет. Теперь она лгала мне, точно так же как и я ей некоторое время назад. Теперь я не имел ни малейшего представления о том, что творилось у нее в голове. И это пугало меня. Очень-очень сильно. Я попытался выведать у нее еще что-нибудь насчет ее самочувствия, но она ясно дала понять, что не желает развивать эту тему. И я не посмел перечить. Я ждал от нее подобных же вопросов, но, к моему недоумению, тему моего здоровья она обходила стороной. Все рассказывала о своем цветнике, о Палыче и болезни его ног. Сказала, что хочет вернуться в город, но все не может решиться на это, потому что в наш летний домик мы приехали вместе и покидать его ей бы хотелось точно в таком же составе. Я ответил, что все это чепуха и если ее там ничто не держит, то пускай возвращается в город. Сейчас в городе, конечно, душновато и это может повредить ее здоровью, но тем не менее она сможет разнообразить распорядок своими любимыми делами, к тому же на нее перестанут давить деревянные стены нашего загородного домика. Она кивнула и сказала: «Я подумаю, для меня это непростое решение, не знаю, как поступить лучше». По-моему она придавала слишком много значения неодушевленным предметам. Я относился к подобным вещам значительно проще. Мама еще раз поцеловала меня в губы. Потом мы какое-то время провели в молчании. Она возобновила свои ласки. Ее теплые ладони касались моего лба, щек, подбородка. Чуткие пальцы снова ворошили мои волосы. При этом она все рассматривала меня, немного склонив голову вправо. Она любовалась мной. Я же прикрыл глаза, потому что веки стали наливать свинцом. Наш коротенький разговор отнял у меня много сил. Требовалась небольшая передышка, чтобы хотя бы немного восстановить их. Я хотел задать ей один важный вопрос – выяснить наконец, что же произошло, почему я не могу пошевелиться. Все мое тело чесалось, но особенно ноги, немного повыше колен. Я попросил маму помочь мне с этим. Сказал ей, что тем самым она облегчит мои страдания. Сказал, что если в ближайшее время эта чесотка не прекратится, то она просто сведет меня с ума. Мама как-то странно улыбнулась и, кажется, я услышал, как ее ногти неуверенно поскребли больничное одеяло или что-то еще, какую-то хрустящую ткань. Странно, но это не принесло мне никакого облегчения. Я вообще ничего не почувствовал. А немного погодя задался вопросом: раз я чувствую, как все тело чешется, значит, оно не потеряло полностью чувствительность, но почему же тогда я не могу сократить ни одну из мышц своего тела и почему не испытываю никаких ощущений, кроме этого ужасного зуда? Обычное ли это явление при параличе?

Может быть, спросить у мамы? Нет, вряд ли она знает, да и вопрос этот ее только расстроит. Но все же что означала та странная улыбка на ее лице? Я никогда не видел такой прежде! Может быть, она мне что-то недоговаривает? Мама продолжала гладить меня. Мне хотелось замурлыкать, как кот. Она тихонечко запела. Это была детская незатейливая песенка, которую она часто пела мне, когда я был еще совсем малышом. Когда же песенка закончилась, остановились и ее руки. Теперь она очень серьезно смотрела меня. Я спросил ее, почему она так странно смотрит, и она ответила, что вовсе не странно, просто она любит меня. Она сказала, что у меня красивые черты лица и его в самый раз было бы чеканить на монетах. Я улыбнулся этим словам. А еще она добавила, что сильно по мне скучала. Я спросил у нее, разговаривала ли она с врачами и что те говорят о состоянии моего здоровья, какие строят прогнозы. Очень сильно меня терзал вопрос, когда же я смогу вернуться домой. Она пообещала, что это произойдет совсем скоро. Как она выразилась: «Ты даже глазом не успеешь моргнуть». Я сказал, что хотел бы вернуться в наш летний домик, если это, конечно, возможно, и побыть там до конца теплого сезона. Она кивнула. Значит, вопрос об ее переезде в город отпадал сам собой. Она будет дожидаться меня в деревне. Я повторил свой вопрос относительно состояния моего здоровья, спросил ее, смогу ли я, когда меня выпишут, своими силами доковылять хотя бы до такси? Буду ли ходить вообще? Она тяжело вздохнула и отвела взгляд в сторону. Я содрогнулся. Эта ее реакция сильно пугала меня. Я тихо позвал ее. Она еще раз тяжело вздохнула. Теперь, кажется, я начинал понимать, что было что-то, чего она не хотела говорить мне. Но, судя по ее реакции, знала, что сказать все-таки должна. Я видел, что она силилась. Видел, как подрагивал ее заострившийся от болезни подбородок, видел, как дергались ее веки, видел, как нервно она покусывала губы. На мгновение она выпала из поля моего зрения, но тут же появилась вновь в компании поднесенного к губам стакана воды. Она сделала небольшой глоток, после чего убрала стакан. Я услышал, как его доньшко звонко ударилось о какую-то металлическую поверхность. Мама запивала свое лекарство. Я сказал ей: «Мама, я тоже хочу пить, у меня во рту пересохло, так позволь же мне сделать небольшой глоток из твоего стакана». Но она отрицательно покачала головой: «Нет». Я не стал интересоваться почему, подумал, что просто надую губы. Мама в очередной раз тяжело вздохнула, а потом сказала то, от чего я чуть было не лишился чувств. Она сказала, что ходить я больше никогда не буду, только, может быть, в далеком будущем, когда изобретут соответствующие протезы или что-то в этом роде. И дело вовсе не в моем переломанном позвоночнике, а в том, что у меня теперь вообще нет ног. Я возразил ей: «Но как же такое может быть, если я чувствую, как они постоянно чешутся?» Она не обратила на мою реплику никакого внимания. А потом сказала, что рук у меня тоже нет и вообще я лишился всего своего тела. От меня осталась одна голова. Я не поверил и рассмеялся. Но когда поймал на себе ее взгляд, понял, что в ее словах не было ни грамма шутки. Я почувствовал, как у меня на голове зашевелились волосы. Щеки опять запылали. Я не знал, как реагировать. Все это было похоже на какой-то дурной сон. Затянувшийся ночной кошмар. Я все ждал, когда же наконец проснусь. Но этого не происходило. Я спросил у мамы, как же такое возможно. Как же возможно, чтобы голова продолжала существовать отдельно от тела? Она только пожала плечами и сказала, что и сама не знает. Не знают даже врачи. Все называют это чудом. Но что же произошло с моим телом? Неужели и оно сейчас точно так же лежит в соседней палате и находится под пристальным наблюдением врачей? Неужели оно дергает руками и ногами, извивается? Должно быть, оно привязано ремнями к кушетке? Может быть, есть шанс на удачное срастание? Тогда что для этого потребуется? Сшить или просто соединить между собой? Нет. Тело погибло практически моментально после того, как от него отделилась голова. Более того, его уже кремировали. Так что об этом и думать не стоит. Мама сказала, что на меня набрел случайный грибник. Это произошло через несколько часов, к счастью для меня. По маминим словам, этот грибник сначала обнаружил меня, то есть мою голову, а вот тело обнаружили лишь полчаса спустя, потому что после линчевания оно съехало

с железнодорожной насыпи вниз и угодило в канавку. Мама добавила, что урну с моим прахом она получила на руки два дня тому назад и поставила на полку над своей кроватью. Она долго не могла определиться с тем, нужно ли устраивать отпевание, ведь, несмотря на то что жизнь покинула большую часть моего тела, моя голова оставалась живой. То есть получалось, что в одном моем теле умещались целых две жизни. А следовательно – и две души. Ведь все тело, за исключением головы, нельзя было приравнивать, например, к фаланге пальца. Моя мама совсем не разбиралась в этих ритуальных тонкостях и в итоге все же решила провести обряд, потому как посчитала, что это не будет лишним. Кроме того, это советовал сделать ей и наш деревенский священник. Не знаю почему, но я вдруг вспомнил об отцовских башмаках и заинтересовался у матери об их судьбе. Она ответила, что их сожгли вместе с моим телом.

Мама посидела со мной еще. Оставшуюся часть времени нашего свидания мы больше молчали. Я очень устал, был слишком вымотан, для того чтобы шевелить языком. Думаю, мама прекрасно видела это. Она вновь положила в рот одну из своих таблеток и запила ее глотком из стакана, после чего приподнялась и сказала, что ей пора. Я попросил ее посидеть со мной еще немного, но она ответила, что это невозможно, потому что отведенное нам время почти закончилось. Она сказала, что меня ждут процедуры, которые пойдут только на пользу, и попросила меня быть хорошим мальчиком и не противиться им. Она попросила делать все, о чем попросят врачи. Я прошептал, что вряд ли они будут меня о чем-то просить, потому что в моем нынешнем положении я ни что не способен. Она чмокнула меня в лоб и сказала, что любит. Спустя полчаса после ее ухода меня вновь стали опрыскивать из пульверизатора.

Мои веки были опущены, но я не спал, хотя дрема и одолевала время от времени. Я лежал и пытался свыкнуться с тем, что теперь я – это только моя голова. Пока что у меня это получалось плохо. Я по-прежнему ощущал фантомные покалывания своих отсутствующих конечностей. Мои ноги продолжали чесаться, мышцы рук сводило судорогами, живот, которого у меня теперь не было, крутило от дурных мыслей. Я не мог встать, сесть, даже просто перевернуться на бок, но теперь на то и не было никакой необходимости – вместе с моим телом кремировались и все его естественные физиологические потребности. Хотя нет, меня нужно было опрыскивать из пульверизатора, как комнатное растение. Но в таковое по сути я и превратился. Я проклинал судьбу за то, что она так со мной обошлась. Обошлась подло! А ведь я и сам намеревался поступить с ней так же, когда опускал свою шею на холодную рельсу. Думал ли я тогда я об этом? Нет, конечно нет.

К моему опрыскиванию прибавилось еще несколько процедур. Например, ежедневно мне что-то закапывали в глаза. Иногда эту процедуру повторяли дважды в день. От раствора очень щипало глаза, да так сильно, что из них начинали течь слезы. Один раз мою голову, то есть меня, перевязали бинтами и окунули в емкость с ужасно воняющей теплой жидкостью. По запаху она напоминала рыбный бульон. Я принимал эту ванну около часа, после чего меня вернули на прежнее место, но бинты, которые впитали в себя рыбную вонь, сняли только на следующее утро. Но даже несмотря на это, аромат рыбной требухи окутывал меня еще долгое время. Были и приятные процедуры, например теплые компрессы на затылок. Они так расслабляли меня, что я сам не замечал, как проваливался в забытье, выныривал из него, погружался вновь.

Мама приехала за мной очень скоро, как и обещала. Но перед этим ко мне заглянула одна из белых масок. Зычный мужской бас поприветствовал меня и осведомился о самочувствии. Я поблагодарил его за заботу и ответил, что чувствую себя хорошо, несмотря на то что моя голова по-прежнему все еще немного побаливает. Он ответил, что в этом нет ничего страшного, вскоре эти боли исчезнут совсем, и чтобы я не волновался по этому поводу, поскольку, как он выразился, «все идет своим чередом». Доктор также отметил мой крепкий иммунитет, именно благодаря которому, как он считает, я стремительно иду на поправку. Он откашлялся в кулак, после чего посмотрел на свои наручные часы. В воздухе повисла неловкая пауза. Маска явно пришла сказать мне что-то важное, но, как мне показалось, запаматовала. Я заинтере-

совался у маски на этот счет. Доктор с досадой хлопнул себя ладонью по лбу. Конечно же, сегодня ведь день моей выписки, и он пришел сообщить, что в холле меня ожидает мама. У него совсем вылетело это из головы, потому что по пути ко мне он заглянул еще к двоим пациентам. Я иронично пошутил, спросив у него, что это за пациенты: никак тоже отдельные части тела, как и я? Он шумно засопел в свою маску и заметил, что мой юмор только подтверждает его слова насчет стремительного выздоровления. Но на самом деле моя шутка говорила не о хорошем расположении духа, а о презрении к положению, на которое обрек меня случай. Случай. Вот точное слово! Доктор пожелал мне всего самого наилучшего и как бы между прочим спросил, не хочу ли я, чтобы он поставил меня на какую-нибудь твердую поверхность, например на тумбочку рядом с настольной лампой. «Но для чего это нужно?» – спросил я его. На что он ответил мне: «Это порадовало бы вашу маму, когда она войдет к вам в палату, поскольку вертикальное положение свойственно здоровому человеку, а горизонтальное все же ассоциируется у людей со слабостью или болезнью». Мне хотелось послать его ко всем чертям, но вместо этого я лишь холодно процедил, что не хочу, чтобы меня перетаскивали и куда-то ставили. Эти слова немного расстроили его, как мне показалось. Свое «ну что же, это уж как вам заблагорассудится» он произнес с напускным безразличием в голосе. Я улыбнулся про себя. Доктор фыркнул, как морж, и откланялся. Несколькими минутами позже в поле моего зрения появилось лицо мамочки. Мне показалось, будто бы она похудела еще сильнее. Она застенчиво улыбнулась мне, после чего наклонилась и поцеловала в лоб. Мне хотелось протянуть к ней руки, которых у меня больше не было, для того чтобы обнять ее и прижать к себе. Если бы в моей груди сейчас билось сердце, то билось бы оно как сумасшедшее. Я был рад видеть ее. Я был рад, что наконец-то покидаю это место. Больше мне не придется терпеть перед своими глазами этот скучный потолок вместе с его верными спутниками – нервно подмигивающими мне люминесцентными лампами. Я сказал маме, что очень скучал по ней, и она ответила мне, что это чувство взаимное. Все эти дни она готовила наш летний домик к моему приезду. Я сказал ей: «Все это пустяки, не стоило из-за меня возиться с этим! Уж лучше бы ты отдыхала или сходила к доктору, ведь это сейчас тебе так необходимо!». Она лишь отмахнулась и заявила, что для нее это не составило никакого труда. Но выглядела она действительно неважно, будто не спала несколько ночей подряд. Темные круги под глазами, как мне показалось, увеличились чуть ли не вдвое. Я спросил маму о таблетках, которые она принимает: действительно ли они перестали на нее действовать, как мне показалось, или же я ошибаюсь. Она грустно посмотрела на меня и ответила, что не хочет говорить на эту тему, по крайней мере не сейчас, ведь на улице вот уже полчаса как дожидается такси, которое должно довезти нас прямо до деревни. Я воскликнул: «Ты сошла с ума! Это обошлось тебе, должно быть, в целое состояние! А мы ведь могли бы самостоятельно добраться до вокзала, а там сесть на электричку!» Она помотала головой и попросила меня не переживать по этому поводу. Но как было не переживать, ведь эти деньги она могла бы потратить на лекарства или же на визит к врачу! Ее губ вновь коснулась столь обожаемая мною кроткая улыбка. Мама прошептала мне, что все это сейчас неважно и что если я так хочу обсудить ее «сумасшедший» поступок, то это можно будет сделать сегодня вечером за ужином, а сейчас нам нужно выдвигаться в сторону выхода, потому как такси вряд ли будет ожидать нас бесконечно долго. Ужин. Она упомянула про ужин. Похоже, она совсем забыла про то, что ужины мне больше не требуются, как и обеды с завтраками. Хотя, конечно, я могу набить чем-нибудь свой рот и делать вид, что пережевываю содержимое. Но я не был уверен в том, что мамины слова предполагали именно это. Да, определенно сей факт просто вылетел у нее из головы! А ведь она наверняка приготовила что-нибудь. Старалась, провозилась на кухне не один час. Мне не хотелось сейчас ее расстраивать, и поэтому ее слова я оставил без комментариев, а лишь моргнул ей в знак призыва к действию. Она натянула на меня вязаную шерстяную шапочку, после чего ловко подхватила меня правой рукой себе под грудь. Таким образом я миновал темный больничный коридор и очутился на

улице. Солнце тут же едва не ослепило меня. Мне пришлось сощуриться. Ветер подхватил мои отросшие черные волосы и заиграл ими. Мама полезла в сумочку за солнцезащитными очками. Невдалеке я заметил ожидающий нас автомобиль. Я хотел было вскинуть правую руку в его сторону, чтобы указать на него маме. Но вспомнил, что у меня больше нет рук.

Наш маленький загородный домик ничуть не изменился с того момента когда я видел его в последний раз. Тем утром он нежился в лучах утреннего солнца, а теперь сверху на него давило пульсирующее грозное небо. Как резко переменилась погода! Подумать только! Мама расплатилась с водителем. Мы вылезли из автомобиля. Она все так же прижимала меня к своей груди. Мы подошли к калитке, и мама отворила ее свободной рукой. Я слышал, как учащенно бьется ее сердце. Я спросил, как она себя чувствует, и мама ответила: «Все хорошо, не переживай, просто дорога немного утомила меня». Мы добрались до крыльца. Мама аккуратно опустила меня на деревянную лавку и принялась возиться с входной дверью. Замок не желал отворяться. Мне хотелось осмотреться по сторонам, но сделать это было проблематично. Единственное, что я мог делать, так это вращать глазами. От обрубка шеи теперь не было никакого проку. Слева от меня находилась поленница, и краем глаза я уловил возле нее какое-то движение. Я подумал, что мне просто показалось. Но нет, там действительно кто-то был. Из-за поленницы показалось перепуганное лицо. Сначала я его даже не признал. Ну конечно же! Палыч! Наверное, он еще издали заметил приближающийся автомобиль. Интересно, говорила ли ему мама что-нибудь насчет нашего сегодняшнего приезда? Палыч снова скрылся за поленницей, и больше я его не видел, однако чувствовал, что меня продолжают с любопытством разглядывать. Странно, но я не испытывал по этому поводу никакого дискомфорта. Хотя раньше очень смущался, когда видел, как на меня кто-то таращится. Мне всегда хотелось закрыть лицо обеими руками и отвернуться. И, может быть, даже что-нибудь выкрикнуть в адрес нахального наблюдателя. Мама наконец-то справилась с замком. Я услышал, как скрипнули дверные петли. Они всегда так скрипели, а у меня все не доходили руки до того, чтобы их смазать, хотя бытовка со всем для этого необходимым стояла в какой-то паре метров от крыльца. Я вспомнил про отца. Он никогда не откладывал домашних дел. Он вообще с радостью брался за любую работу. Мне даже стало немного стыдно, но я вовремя одернул себя. Мама подняла меня на руки, и мы вошли в дом. Внутри было прохладно. Мама спросила, не холодно ли мне, на что я ответил, что в самый раз. Она опустила меня рядом с рукомойником и сказала, что сбегает за дровами, печку все-таки стоит немного протопить, потому что, как ей кажется, внутри пахнет сыростью. Она пропала из моего поля зрения – вышла на улицу. А я вновь закрутил глазами – решил по возможности осмотреться. В нашем крохотном коридорчике точно ничего не поменялось за время моего отсутствия. Все те же желтые обои в цветочек, старый шумный рукомойник у меня над головой. С кухни доносился восхитительный запах жареного мяса с подливой. Мама готовила это блюдо превосходно. Слюнные железы в моем пересохшем рту активно заработали. В какой-то момент мне показалось, я мог в этом даже поклясться, что у меня заурчало в животе. Да, сейчас бы я с удовольствием стащил из кухонного буфета что-нибудь вкусненькое. Раньше, когда еще был жив отец, мама экспериментировала на кухне чуть ли не каждый вечер. После его смерти она крутилась у плиты разве что в выходные, только потому, что хотела порадовать меня. Ну а последний год открывала свою поваренную книгу лишь по какому-нибудь случаю или к празднику. И делала это с явной неохотой. В кухонном столе она хранила небольшой потрепанный блокнотик, куда раньше время от времени выписывала рецепты, которыми поделилась с ней соседка или услышанные по радио. Давно мама не открывала блокнот. Наверное, даже позабыла о нем. Но он продолжать находиться там, пускай и забытый своей хозяйкой, но только не мною.

Вернулась мама с охапкой дров. Правда, охапка была совсем небольшой – в ней уместилось от силы пять-шесть небольших полешек. Но этого вполне должно хватить, чтобы слегка протопить небольшую комнатку, в которой находилась старая кирпичная печка, да просушить

нашу гостиную. Она бросила дрова на пол и метнулась ко мне. Мама спросила, не приключилось ли со мной чего дурного. Я ответил, что нет, все хорошо, пока ее не было, я осматривал нашу прихожую. Она улыбнулась и заметила, что не такая уж она большая, чтобы ее можно было осматривать, да и из мебели здесь почти ничего нет. Она подхватила меня на руки и отнесла в гостиную. Небольшой квадратный столик в центре, четыре стула, старый диван, привезенный когда-то из нашей городской квартиры, тумбочка с телевизором на ней. Это все, чем она была обставлена. Пожалуй, слишком бедно, для того чтобы называться гостиной, но нам здесь всегда нравилось. Раньше рядом с диваном стояло еще и кресло от какого-то совсем древнего комплекта мебели. Это было отцовское кресло. В нем он обычно читал свою газету или дремал после обеда. Совсем редко – курил. Мама не выносила запах табачного дыма. Она всегда начинала демонстративно кашлять и задыхаться, когда рядом кто-то курил. В общем, делала все, чтобы находящийся рядом курильщик в полной мере осознал ужас совершаемого им преступления и искренне устыдился этого. Мама опустила меня на диван. Она сказала, что пойдет быстренько растопить печку, и посоветовала мне не скучать в ее отсутствие. Мы улыбнулись друг другу. Минутой позже я уже слышал из-за стенки потрескивание разгорающихся полешек. А потом мы «приступили» к ужину, для которого, как я и думал, мама приготовила жареное мясо с восхитительно пахнущей подливой. Но за тот небольшой отрезок времени, что длился наш «праздничный ужин», она так и не отправила в рот ни единого кусочка. Она просто сидела и ковыряла вилкой у себя в тарелке. Я молча наблюдал за ней. В какой-то момент она не выдержала и в слезах выбежала из комнаты.

Той ночью я спал плохо. Мне снились тревожные сны, и я то и дело просыпался в холодном поту. Один из этих снов мне запомнился очень хорошо: мы с отцом стояли у подножья высоченного зеленого холма, покрытого буйной растительностью. Да-да! Именно стояли, потому что при мне были все мои недавно кремированные конечности. Мы решили устроить что-то вроде небольшого привала, для того чтобы передохнуть, прежде чем двинуться дальше. Отец что-то внимательно рассматривал через бинокль, который был направлен на верхушку холма. Я посмотрел в том же направлении и прищурился. Как мне показалось, там что-то двигалось. Но я не мог быть в этом уверен и поэтому подергал отца за рукав его свободной рубахи и поинтересовался, что он там высматривает. Сначала отец не ответил мне, а лишь отдернул руку и продолжил свое занятие. Но я все не отставал от него, и наконец он сдался – опустил бинокль и посмотрел на меня. Он выглядел очень плохо: под глазами огромные синяки, лицо осунувшееся и заросшее щетиной. Его голова немного подрагивала. Он выглядел почти так же, как выглядела мама с момента ее болезни. У меня екнуло сердце, я посмотрел на него в испуге. Неужели и он тяжело болен? Он мрачно ответил, что пока что ничего не видит, но что-то там определенно есть и в этом он уверен. Отец сказал, что ему потребуется еще какое-то время для наблюдения и чтобы я пока не мешал ему. Он предложил мне собрать сухие ветки, которые были разбросаны кругом в достаточном количестве, и развести огонь. Отец кивнул на два большущих мешка, которые были прислонены к толстому стволу дерева слева от меня. В них хранился весь наш провиант. Я понял, что он хочет, чтобы я приготовил что-нибудь поесть, пока он несет свою вахту. Я кивнул в ответ и спросил у него, неужели в этом есть такая необходимость – стоять столько времени и что-то там высматривать. Он все тем же мрачным тоном ответил, что я даже не представляю себе, насколько это необходимо, ведь если он увидит там то, что предполагает, то мы не сможем продолжить наш путь. Опасность? Нам что-то угрожало? Он снова кивнул. Но что, что же он там высматривал? Может быть, какое-то дикое животное? Нет, тогда бы он сказал мне об этом. Я сделал все, о чем он просил, после чего уселся у костра, поджав ноги. Просто сидел и смотрел на огонь. Пламя завораживало меня, гипнотизировало... В какой-то момент я начал осознавать абсурдность положения, в котором мы с отцом оказались. Абсурдность и всю его иллюзорность. Мне хотелось засмеяться, но я сдержался и только прыснул себе под нос. Я поднял голову и посмотрел на отца. Он все так же

наблюдал в свой бинокль за вершиной холма. Я подумал, что, вероятно, он простоит так всю ночь. Отец всегда отличался выдержкой характера и упорством. Если ему что-то взбрело в голову, он никогда не бросал своей цели. Ему стоило бы отвлечься ненадолго от своего занятия и перекусить. Я поджарил на огне немного фасоли. Поджарил только для него, потому что сам ее терпеть не мог. У меня в руках откуда-то появились галеты. Недолго думая, я отломил от одной из них небольшой кусок и отправил себе в рот. Неожиданно отец опустил свой бинокль и бросился тормошить меня. На его лице читался неподдельный испуг. Нет, это был не просто испуг, им овладела самая настоящая паника. Он что-то увидел там, наверху. Я попробовал встать, но из этого ничего не вышло – ноги стали ватными, а голова все тяжелела и тяжелела. Отец продолжал тормошить меня, несколько раз подхватывал меня под руки и пытался поставить на ноги. Но у него ничего не получалось – я снова и снова оседал наземь. Отец что-то выкрикивал мне прямо в ухо, но я его не слышал. В какой-то момент происходящее вокруг перестало иметь для меня какое бы то ни было значение. Меня словно накрыл непроницаемый стеклянный колпак. Я сидел на земле, припав спиной к дереву, и с улыбкой наблюдал за танцующим пламенем разведенного мною костра.

Последующие дни моего пребывания в деревне тянулись медленно и имели один и тот же сценарий. Я просыпался рано утром, примерно час спустя после пробуждения мамы. Я слышал, как она напевает что-то за стенкой или же сидит рядом со мной за столом перед зеркалом и расчесывает волосы. За последний год они заметно поредели, на висках стала пробиваться седина, которую ей приходилось подкрашивать. А ведь еще не так давно ее волосы были до того густыми и упругими, что у нее уходило не меньше часа на то, чтобы расчесать их и уложить. Она всегда гордилась волосами, и свою шевелюру я унаследовал именно от нее. Отец мой облысел к своим двадцати годам. И вот теперь она сидела перед маленьким круглым зеркальцем, которое было заляпано какими-то жирными следами, и расчесывала то, что осталось от былой красоты. Она увядала у меня на глазах с каждым днем. Новый день не приносил ей ничего, кроме новой порции боли и тоски. Ближе к полудню боли становились такими невыносимыми, что она выпивала целую пригоршню своих пилюль, после которых боль немного притуплялась. Тогда она забиралась обратно в постель, куталась в старое ватное одеяло и сообщала мне, что собирается немного поспать. Сон был ее единственным временным спасением. Но заснуть ей удавалось далеко не всегда. Часто она просто ворочалась и все стонала. Стонала и стонала. И господи, что же это были за стоны! Я был рядом с ней и ничем не мог ей помочь. Я даже не мог обнять ее, прижать к себе и принести стакан воды. Не мог сделать ничего, чтобы облегчить эти ее страдания. Как-то я спросил у нее, когда она в последний раз была на приеме у Зальцмана, и она призналась, что с тех пор прошло уже более двух недель. Я немного опешил от такого признания и поинтересовался о причинах, побудивших ее отказаться от услуг врача. Она сказала, что от проводимых им процедур не видит никакого эффекта. Он просто выкачивает из нее деньги, вот и все. Единственным, что приносило ей реальное облегчение, были его пилюли, но теперь они почти совсем перестали оказывать действие, а выписывать ей что-то другое Зальцман наотрез отказывался. Мама сказала: «Он считает, что эти чертовы пилюли прямо-таки панацея». На самом же деле ему принадлежал патент на их производство, поэтому и дураку было понятно, что он просто пытается нажиться на своих пациентах. Но почему, почему нельзя было обратиться к кому-нибудь другому за помощью? Ведь в городе не так уж мало практикующих врачей, и возможно, кто-то из них вполне сумел бы помочь маме. Тем более у нас оставались еще кое-какие сбережения и было полным-полно всякой антикварной рухляди, которую можно было бы продать за хорошие деньги. Я озвучил этот вопрос, на что она просто махнула рукой и отрицательно замотала головой. Сказала мне, что слишком устала от всех этих врачей, их обследований и бесполезных процедур. Устала от серых больничных стен (это я прекрасно понимал), от неудобных поездок до города, которые стали даваться ей с таким трудом. Мама сказала, что боли пока терпимые, хотя ужасно выматывают ее, потому что

не дают спать. Но когда станет совсем неспособно, тогда она что-нибудь обязательно придумает. Она слышала, что через Пашку – нашего деревенского провизора – можно достать некие сильные болеутоляющие, которые не встретишь на прилавках аптек. Я возразил ей, что это весьма сомнительно, а кроме того – небезопасно для ее здоровья. Она улыбнулась моим словам и сказала: «Безопасность – это то, о чем люди в моем положении думают меньше всего». По вечерам мы устраивались на диване перед телевизором или читали вместе какую-нибудь книгу. Мама обожала изящные повести Арханова, я же всегда увлекался несколько поверхностной литературой. Часто мы читали вслух друг для друга. Но мамы не хватало надолго, она быстро уставала от чтения, и тогда ставила книгу передо мной, подпирая ее чем-нибудь у основания. Я читал, а она перелистывала для меня страницы. Перед сном она умывала меня теплой водой и чистила мне зубы. После этого оставляла меня ненадолго на диване в компании телевизора или книги, а сама шла на кухню за своим лекарством. Она возвращалась для того, чтобы выключить телевизор, поцеловать меня в лоб или щеку и пожелать спокойной ночи. Затем удалялась. И долго еще из соседней комнаты до меня доносился скрежет старой пружинной кровати и ее стоны.

В один из серых дождливых дней, когда теплый сезон подходил к концу, мама спросила, как я смотрю на то, чтобы пригласить кого-нибудь к нам в гости. Я поинтересовался, с чего вдруг эта мысль пришла ей в голову? Зачем нам кого-то приглашать? Она ответила, что видит, как я скучаю, видит, как мне надоели все эти глупые телевизионные передачи, да и книги которые были у нас в доме, мы почти все уже перечитали. По ее мнению, мне нужно общение еще с кем-то, кроме как с такой древней развалиной, как она. Я возразил ей, что никакая она не развалина и что видеть кого-либо у меня нет совершенно никакого желания. Мне достаточно книг и вечерних развлекательных программ, да и вообще я всегда предпочитал одиночество каким бы то ни было компаниям. Она махнула рукой, что, мол, глупости все это, человек по своей природе не может без общения. Я ответил, что если она так хочет, то пускай кого-нибудь пригласит, но я в самом деле не хотел никого видеть и прямо об этом ей и заявил еще раз. Она нахмурила брови, и между ними образовалась пара очаровательных складочек, присела за стол и серьезно посмотрела на меня. Мама о чем-то думала, но все не решалась сказать мне, о чем именно. Она откинула со лба прядь волос, которая выбилась из пучка на затылке, и спросила, как я отнесусь к тому, если меня навестит Олежка? Я удивился ее выбору: «Олежка? Но почему именно он?» Мама ответила, что встретила его несколько дней тому назад недалеко от бетонки. Он подъехал к ней на своем ржавом скрипучем велосипеде с целью поинтересоваться о моем здоровье и узнать, выписался ли я из больницы. И мама рассказала ему все как есть. В конце их недолгой беседы спросила, почему бы ему самому не проведать меня. Олежка радостно закивал головой в ответ. Он как раз таки и дожидался этого приглашения. Мама сказала, что мы будем ждать его в гости в любой из будних дней после обеда. Кроме того, она выразила ему свою уверенность в том, что его компания пойдет мне на пользу, ведь она знает, сколь важную роль играет общение в таком нежном возрасте, как мой. Она сама через все это прошла когда-то. Олежка сказал, что спросит разрешения у отца, и счастливый укатил прочь. Они вдвоем с отцом круглогодично проживали в деревне. Их небольшой, но основательно сложенный сруб позволял переносить зимние морозы. Кажется, они всего несколько раз выбирались в город и ничуть не жалели о том, что не имеют городской прописки. Отец Олежки Ванька-Столб был деревенским плотником, но кроме этого неплохо разбирался в электрике, что позволяло ему частенько подзаработать дополнительно. Вообще мужик он был с руками, но уж больно часто прикладывался к бутылке, после которой – к физиономии своего сына. Мать бросила их, едва Олежке исполнилось одиннадцать. Одни говорили, что ей осточертели постоянные побои своего муженька, другие – будто бы она нашла молодого любовника-цыгана, ради которого и бросила семью. Никто точно не знал, но слухи продолжали плодиться. Как бы то ни было, одной теплой весенней ночью она надела любимое платье, накинула поверх него котиковую шубку, подаренную мужем, и, прихватив с собой украшения и часть сбереже-

ний, которые откладывались на Олежкино обучение, была такова. Как только Ванька-Столб узнал о том, что произошло, он тут же крепко надрался, после чего поработал над сыном. Пил он подряд несколько месяцев, на протяжении которых не было ни дня, когда бы Олежка появился в школе без нового синяка, порванной губы или же опухшего носа. Олежка рос слабым и болезненным ребенком. Со стороны своих сверстников терпел частые насмешки, которые иной раз переходили в самые настоящие издевательства. После того как из дома сбежала мать, в его голове все перемешалось. Но несмотря на это, отец продолжал регулярно лупить его. Это длилось до тех пор, пока однажды Олежка не стащил из отцовской мастерской разводной гаечный ключ, который той же ночью обрушил на голову своему спящему папаше. В ту ночь своими воплями Ванька-Столб разбудил полдеревни. С окровавленным лицом он выбежал из дому и стал носиться вокруг него, держась за разбитую голову. На крики сбежались соседи. Кто-то вызвал Зальцмана. Олежка же в это время с неподдельным любопытством наблюдал за «вакханалией» из окна второго этажа. Впоследствии он говорил, что ничего не помнит, что вроде бы он спал, но его разбудили непонятные крики. Тогда он спрыгнул с кровати и подошел к окну, чтобы посмотреть что происходит. Отца увезли в местную больницу, из которой он возвратился два дня спустя с перевязанной головой. Как оказалось, нанесенная травма оказалась несерьезной. Однако же гаечный ключ рассек ему левое ухо, так что из привычной розоватой ракушки с фиолетовыми прожилками ухо превратилось в рваные лоскуты кожи, налипшие к черепу. После того случая побои прекратились. По крайней мере, в школу Олежка стал приходить без новых синяков, а старые потихоньку начали рассасываться. Было очевидно, что отец начал Олежку побаиваться, как, впрочем, и школьные обидчики. Среди них Олежка прослыл «двинутым» и теперь одноклассники и даже старшеклассники лишь искоса поглядывали на него с безопасного для себя расстояния. В Олежке же ничего не изменилось, он оставался таким же тихим и застенчивым, таким же хилым и болезненным ребенком. Но некоторые действительно полагали, что мальчик носит в своем рюкзаке гвоздодер. И такую вероятность нельзя было исключать. То, что он отчасти лишился рассудка, ни у кого не вызвало сомнений.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.